

Ю.В. Манн

Какое имеет отношение к действию поэмы история капитана Копейкина

1

На первый взгляд — никакого. Действие поэмы (ее первой части) происходит в губернском городе NN и в близлежащих помещичьих имениях. Действие «Повести о капитане Копейкине» — в Петербурге. В поэме повествуется об афере Чичикова; в «повести» насчет купли-продажи мертвых душ — ни слова. Ни один из персонажей поэмы не причастен к «Повести о капитане Копейкине», разве что почтмейстер и то не как действующее лицо, а как рассказчик.

В десятой главе чиновникам, собравшимся у полицеймейстера с целью решить, наконец, кто же такой Чичиков, почтмейстер рассказывает «Повесть о капитане Копейкине». Рассказывает с явным желанием внушить собравшимся, что Чичиков есть не кто иной, как капитан Копейкин. Но рассказ никого не убедил, чиновники «очень усумнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин», и версия почтмейстера была отвергнута.

Вот и вся нить, соединяющая «повесть» с действием поэмы. Кажется, оборвись эта нить, исчезни эти несколько страниц «повести», и в течении поэмы ничего не изменится.

Но вот что интересно: Гоголь придавал огромное значение «повести». Он приложил огромные усилия, чтобы она прошла через цензуру и осталась в поэме.

Не пропущенную Московским цензурным комитетом рукопись поэмы Гоголь переслал с Белинским в Петербург, где с помощью Плетнева, Одоевского и других друзей писателя удалось сравнительно быстро добиться цензурного разрешения. Но при этом не обошлось и без потерь.

5 апреля 1842 года Гоголь получил из Петербурга рукопись с долгожданной цензурной визой.

Почти одновременно пришло следующее письмо от А.В. Никитенко, который был цензором «Мертвых душ»:

«Милостивый Государь Николай Васильевич! вы, вероятно, уже получили рукопись вашу «Мертвые души», отправленную из здешнего цензурного комитета... Сочинение это, как вы видите, прошло цензуру благополучно; путь ее узок и тесен и потому не удивительно, что на нем осталось несколько царапин и его нежная и роскошная кожа кой-где поистерлась».

Цензура, однако, не только кое-где поцарапала «кожу» поэмы, но и вырвала из нее кусок мяса.

Далее Никитенко писал:

«Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина — ничья власть не могла защитить его от гибели, и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать».

Александр Васильевич Никитенко — профессор Петербургского университета, писатель, журналист — был образованным, любящим литературу человеком. Занимая пост цензора, он старался быть либеральным и нередко помогал писателям. Но служба есть служба, и действовать вопреки своим цензорским обязанностям Никитенко не мог.

«Мертвые души» были разрешены им к печати без «Повести о капитане Копейкине».

Из другого документа — письма Белинского от 14 апреля — мы узнаем о той обстановке, которую он застал в Петербурге, возвратившись с рукописью Гоголя. Эта обстановка оказалась очень неблагоприятной для «Мертвых душ».

«Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безымянных возмутительных письмах. Правительство было встревожено; цензур-

ный террор усилился. К этому, наделала шуму повесть Кукольника “Иван Иванович Иванов, или Всё за одно...”. Предводитель дворянства хотел жаловаться; министр флота, князь Меншиков, в Государственном Совете сказал членам: А знаете ли вы, дворяне, как вас бьют холопы палками и пр. Дошло до государя, и по его приказанию граф Бенкендорф вымыл Нестору¹ голову. Вследствие этого Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо».

В события оказались втянуты могущественные люди: адмирал Меншиков, министр народного просвещения Уваров, шеф жандармов Бенкендорф, сам Николай I. И все по поводу подрыва авторитета правящего класса. Насмешки над «сословием», о которых упоминает Белинский, — это насмешки над дворянами, помещиками. В письме к Кукольнику от 6 января 1842 года Бенкендорф ставил ему в вину намерение показать в своем рассказе «дурную сторону русского дворянина и хорошую — его дворового человека».

Легко себе представить опасность для «Повести о капитане Коиейкине», в которой с невыгодной стороны выставлялось не одно, а множество лиц правящего сословия. Да каких лиц: генералы, министр!

Но того, что цензору Никитенко казалось невозможным, Гоголь решил добиться во что бы то ни стало.

В Петербург одно за другим полетели письма Гоголя.

«Выбросили у меня целый эпизод Копейкина, для меня очень нужный, более, нежели думают они. Я решился не отдавать его никак», — пишет Гоголь 9 апреля своему старому лицейскому другу Н. Прокоповичу и просит его навеститься к Плетневу. На другой день вместе с переделанной редакцией «повести» он отправляет письмо к Плетневу: «Присоедините ваш голос и подвиньте кого следует». Гоголь имеет в виду прежде всего Никитенко.

В тот же день Гоголь пишет к самому Никитенко. Взывает к его эстетическому чувству. Объясняет характер переделок.

«...Признаюсь, уничтожение Копейкина меня много смутило. Это одно из лучших мест. И я не в силах ничем залатать ту прореху, которая видна в моей поэме. Вы сами, одаренные эстетическим вкусом, который так отразился в письме вашем, вы сами можете видеть, что кусок этот необходим... Мне пришло на мысль: может быть, цензура устрашилась генералитета. Я переделал Копейкина и выбросил все, даже министра, даже слово “превосходительство”. В Петербурге за отсутствием всех остается только одна временная комиссия. Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков... Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо. Словом, всё теперь в таком виде, что никакая строгая цензура, по моему мнению, не может найти предосудительного в каком бы то ни было отношении. Молю вас возвратить мне это место, и скорее сколько возможно, чтобы не задержать печатанья».

Гоголь готов идти и на другие уступки. 15 апреля он пишет Прокоповичу: «Если имя Копейкина их остановит, то я готов назвать его Пяткиным и чем ни попало».

Почему Гоголь опасался даже за фамилию «Копейкин», мы увидим ниже. Но, к счастью, больше изменений не потребовалось. «Повесть о капитане Копейкине» в той редакции, которую Гоголь послал Никитенко, была наконец пропущена цензурой.

2

Говоря о «повести», мы должны учитывать тот факт, что она существует в двух законченных редакциях. Редакция цензурная, увидевшая свет в первом издании поэмы. И редакция доцензурная, которая не была пропущена к печати.

В современных изданиях в тексте поэмы по праву печатается доцензурная редакция «повести». А ее цензурный вариант обычно помещается в приложении.

¹ Нестору Кукольнику.

Разумеется, авторской воле, художественному замыслу полностью соответствует лишь доцензурная редакция. Но и цензурный вариант в каком-то смысле небезынтересен: ведь он показывает, на какие уступки шел Гоголь и что он сохранил, несмотря на давление цензуры.

Нужно также иметь в виду следующий факт: сохранился еще один вариант «Повести о капитане Копейкине». Этот вариант необработанный; мы находим его в составе так называемой второй черновой редакции поэмы.

Многое звучит в этой редакции «повести» острее, разоблачительнее. Например, чиновник, к которому является за помощью Копейкин, — это министр, то есть лицо, приближенное к царю, представитель высшей государственной власти.

Но самая важная особенность этой редакции — финал. История капитана Копейкина не кончалась высылкой его с фельдъегерем из Петербурга и многозначительным намеком на то, что он возглавил шайку разбойников в рязанских лесах. Далее в «повести» подробно рассказывалось, как капитан Копейкин собрал шайку из беглых крестьян, как он напал с ними на проезжающих, причем личное имущество не брал, а реквизировал лишь казенное: «...как только какой-нибудь фураж казенный, провиант или деньги... все, что носит, так сказать, имя казенное, спуску никакого». Словом, характер действий капитана Копейкина явно обнаруживает в нем не грабителя, но человека мстящего: ведь пострадал то он от власти, от государства, и месть его направлена только на все «казенное».

Заканчивалась «повесть» так: Копейкину удалось убежать в Америку, откуда он написал письмо царю с объяснением своих действий и увещанием заботиться об инвалидах — просьба, которую царь будто бы принял во внимание.

«Так вот кто, сударь мой, этот капитан Копейкин. Теперь я полагаю, что он в Соединенных Штатах денежки прожил, да вот и воротился к нам, чтобы, понимаете, еще каким-нибудь образом попробовать, что не удастся ли какое-нибудь в некотором роде новое предприятие», — заключал почтмейстер свой рассказ.

Гоголь, подготовив новую (доцензурную) редакцию «повести», отказался от такого финала. Возможно, он предвидел цензурные осложнения; но что было сделано им под влиянием этих опасений, а что в соответствии с собственным замыслом, сказать нелегко.

Например, «вельможа» в доцензурной редакции вместо «министра» в черновой звучит вроде не так остро. Однако со времени одноименной державинской оды понятие «вельможа» приобрело обобщенное значение власть имущего, кумира, увы, не исполняющего своего высокого предназначения:

Кумир, поставленный в позор,
Несмысленную чернь прельщает,
Но коль художников в нем взор
Прямых красот не ощущает, —
Се образ ложных молвы,
Се глыба грязи позлащенной!
И вы, без благодати душевной,
Не все ль, вельможи, таковы?

Кстати, в стихотворении Державина можно найти зерно ситуации гоголевской «повести». Среди просителей, безуспешно домогающихся помощи вельможи, мы видим и военного инвалида:

...На лестничный восход
Прибрел на костылях согбенный,
Бесстрашный, старый воин тот,
Тремя медальми украшенный,
Которого в бою рука
Избавила тебя от смерти, —
Он хочет руку ту простерти
Для хлеба от тебя куска.

Капитан Копейкин, участник войны 1812 года, искалеченный и изуродованный, тоже простирает к вельможе руку за помощью и не получает ее. Ответом ему служит ледяная холодность, безразличие, презрение.

Таким образом, гоголевская мысль о людях, мертвых духом, переходит из глав поэмы в «Повесть о капитане Копейкине». Стоит только присмотреться к троекратному выходу на сцену «вельможи» (повествователь называет его еще «генералом», «генерал-аншефом»), к его манере обхождения с просителем, безучастной и презрительно-холодной, чтобы убедиться в этом.

А каков стоящий у генеральского дома швейцар! «Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь...» Снижающая функция сравнения, приравнивающего человека к мопсу, отчетливо видна в этом описании. А мы знаем, что такие сравнения отражают одну из граней образа «мертвые души», а именно — омертвление, бездуховность.

Кстати, этот швейцар затем вторично появляется в «повести». Приходит Копейкин снова к дворцу, ему говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». «На другой день — тоже; а швейцар на него просто и смотреть не хочет». Даже ворчанья, даже злого взгляда не устаивает капитана Копейкина этот откормленный мопс!

Гоголь дал одно-единственное объяснение, почему «Повесть о капитане Копейкине» необходима в поэме. В известном нам письме к Никитенко от 10 апреля 1842 года он говорил, что «кусочек этот необходим не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим, и кто в душе художник, тот поймет, что без него остается сильная прореха».

«Связь событий», история продажи-покупки «мертвых душ» нарушена. Но одна из сквозных тем поэмы — омертвевшей, застывшей души — продолжается. Продолжается при полной перемене материала, обстановки, времени действия, — и в этом заключен особый художественный эффект «повести».

Среди этих перемен важнейшей была перемена обстановки, сценической площадки: не губерния, не провинция, а столица, само сердце Российской империи. И не захолустные помещики и губернские чиновники разного калибра и масти, а высшая государственная администрация!

Правда, под давлением цензуры Гоголь вынужден был, что называется, разжаловать своих персонажей. Вельможа, генерал стал просто «начальником». Среди его просителей не упомянуты генералы («Я выбросил весь генералитет», — говорил Гоголь в одном из писем). Все события разворачиваются в другой, более низкой сфере: «Обождите приезда господина *министра*», — говорит начальник Копейкину. А в доцензурной редакции «вельможа» советовал ему подождать приезда *государя*. Даже название «Дворцовая набережная», где находится дом вельможи, Гоголь снимает, так как было известно, что здесь расположены и царская резиденция — Зимний дворец — и дворцы виднейших сановников.

И все равно: самое главное осталось. Остался ведь Петербург, осталась какая-то очень важная столичная инстанция и ее служители. А это-то Гоголю и было нужно.

Среди особенностей «повести», которые помогали «одно впечатление сменить другим» и рождали ощущение перемены, отметим еще следующую. С казенной властью, с тупым равнодушием, с мертвенностью сталкивался не кто иной, как человек, пострадавший на войне, безмерно терпеливый, непритязательный, честный. Среди главных персонажей поэмы такого героя и, следовательно, такого конфликта не было.

Правда, под влиянием цензуры Гоголь вынужден был смягчить новизну конфликта «повести». С одной стороны, он подбавил (условно говоря) темной краски в портрет главного персонажа. Оказывается, Копейкин привередлив и нетерпелив («побывал и на гауптвахтах и под арестом...»). Оказывается, он добивается не самого необходимого, не хлеба насущного: «Мне нужно, говорит, съесть и котлетку, бутылку французского вина,

поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете». С другой стороны, и начальник стал, под давлением цензуры, помягче, податливее. Он входит в положение Копейкина, дает ему скромное «вспомоществование».

И все равно: многое в цензурной редакции осталось. Остался ведь сам факт, что инвалид войны обивает пороги высокой комиссии, домогаясь пенсии, и так и не получает ее. А кроме того, Гоголь потому, возможно, пошел на эти перемены (разумеется, пошел скрепя сердце), что общий тон повествования в какой-то мере их нейтрализовал. Но об этом ниже.

Итак, при нарушении «связи событий», при изменении обстановки, времени, характера персонажа «повесть» в глубине своего течения продолжала и углубляла сквозную тему поэмы — тему омертвевшей души. Но этим не исчерпываются глубинные связи «Повести о капитане Копейкине» с остальным текстом.

3

Один из критиков прошлого века хорошо сказал, что у Гоголя «как-то словечки поставлены особенно»: кажется, ничего такого не говорится, ничего специально не обличается и не высмеивается, а впечатление — поразительное. Гоголевские «словечки» беспощадно бьют по «монументам», по святыням Российской империи.

Посмотрите, как описывается в «Повести о капитане Копейкине» Петербург и его высшие чиновники:

«Ну, можете представить себе, эдакой какой-нибудь, то есть капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада».

Неуклюже-комичная манера повествования (не забудем, что «повесть» рассказывает почтмейстер) бросает отблеск и на то, о чем говорится, — на предмет повествования. Не высшая комиссия, а «*в некотором роде* высшая комиссия». Не правление, а «*правление*, понимаете, *эдакое*». Разница между вельможей и капитаном Копейкиным переведена на денежный счет: «90 рублей и нуль!»

Иногда еще думают, что подобные «хитрости» нужны были Гоголю для обмана цензуры (вроде того, как для баснописца нужны волки и медведи). Ничего нет наивнее такой мысли. Это не маскировка, не камуфляж, а неотъемлемая часть гоголевского художественного мира. Сквозь такую-то густую сеть словечек: «*в некотором роде*», «*эдакое*», «*можете представить себе*» и т. д.— увидена царская столица. И на ее монументальный, величественный лик (да и на все происходящее в «повести») падает какая-то пестрая, колеблющаяся рябь.

Герцен писал:

«...Если низшим позволить смеяться при высших или если они не могут удержаться от смеха, тогда прощай чиновничество. Заставить улыбнуться над богом Аписом, значит расстричь его из священного сана в простые быки».

Заставляя читателя смеяться, Гоголь лишал священного сана царские институты и установления.

Возникает вопрос: разве что-нибудь подобное могло быть в мыслях почтмейстера, рассказчика повести? Но в том-то и дело: его косноязычная манера повествования так наивна, так чистосердечна, что восхищение в ней неотличимо от злой издевки.

А раз так, то эта манера способна передать язвительную насмешку самого автора «Мертвых душ».

Рассказчик, например, восхищается дверной ручкой в доме вельможи: «...так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решиться ухватиться за нее». Кто знает: может быть, почтмейстер действительно так думает. Разве чиновничество, благоговение и трепет

перед высшими — не в его характере? Но выражено это все так неуклюже-наивно и косноязычно, что мы, со своей стороны, вправе заподозрить в этих словах издевку.

Наивная манера повествования... встречалась... и в предыдущих главах «Мертвых душ».

В первой главе рассказывается о городском саде, в который заглянул Чичиков: сад «состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою». А потом говорится, как этот сад был описан в местных газетах:

«...Хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах... что город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых, широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день, и что при этом было очень умильно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику».

«Широковетвистые деревья», «потоки слез», струящиеся прямо из сердца, и т. д.— все это звучит, конечно, пародийно. Откуда эта пародийность? В приведенном отрывке скрестились две точки зрения: повествователя и вымышленного репортера (или даже нескольких репортеров) губернской газеты: ведь повествователь пересказывает чьи-то статьи. И если эту пародийность не «добавил» рассказчик, то уместно предположить, что она возникла из живописной безграмотности газетного репортера, столь неуклюже и кудряво выражающего свое восхищение. Да и гоголевский рассказчик, как мы знаем, лицо достаточно сложное.

Отсюда видно, что и в повествовательной манере обнаруживается глубокое созвучие «Повести о капитане Копейкине» и всей поэмы. Хотя, пожалуй, в этом месте «Мертвых душ» подобная манера достигает своего апогея, что художественно мотивируется существованием особого рассказчика — почтмейстера.

И, видимо, необходимость такого апогея тоже входила в расчеты Гоголя, обдумывавшего поэму как художественное целое и место в ней «Повести о капитане Копейкине». Поэтому, перерабатывая «повесть» и приравнивая ее к цензурным требованиям, Гоголь упорно старался сохранить саму «косноязычную» манеру повествования.

Этой-то манерой и нейтрализуются, сводятся на нет те изменения в характеристике «начальника» и капитана Копейкина, которые писатель вынужден был внести.

Ведь, скажем, когда повествователь (то есть почтмейстер) говорит о привередливости и скверном характере Копейкина («...привередлив как черт, побывал и на гауптвахтах и под арестом, всего отведал»), то еще неизвестно, что за этим скрывается. Так же неясно, насколько надо принимать всерьез доброту «начальника».

Вот он говорит капитану Копейкину: «...без сомнения, вы будете вознаграждены как следует; ибо не было еще примера, чтобы у нас в России человек, приносивший, относительно так сказать, услуги отечеству, был оставлен без призрения». По форме этих слов получается, что царская администрация печется о каждом достойном. А если исходить из их смысла?

Известный исследователь гоголевского творчества С.И. Машинский обратил внимание на любопытный факт. В 40-е годы XIX века приведенные строки из «Повести о капитане Копейкине» в откровенно агитационных целях использовал М.В. Петрашевский. В «Карманном словаре иностранных слов», в статье «орден рыцарский», Петрашевский с иронией писал, что власти в России руководствуются в своих действиях «наукой, знанием и достоинством». В подтверждение Петрашевский ссылался на сцену увещания «начальником» капитана Копейкина.

Уместно к этому добавить следующее. Петрашевский использовал для агитационных целей именно цензурную, опубликованную редакцию «повести» (другая редакция ему не могла быть известна). И он привел в качестве разоблачительного материала как раз то место, которое Гоголь написал под цензурным давлением для смягчения остроты

«повести». Петрашевский смог это сделать не только потому, что слова «начальника» опровергались развязкой «повести» и не только потому, что они противоречили действительным фактам обхождения с неимущими и нуждающимися в царской России. Видимо, Петрашевскому важна была и та простодушно-лукавая интонация восхваления-издевки, с которой передавались слова «начальника».

В самом деле: в России вознаграждался не просто «человек, приносивший услуги отечеству», но — «человек, приносивший, *относительно так сказать*, услуги отечеству». Как же понимать эти «услуги»? В черновике мы находим еще одно интересное добавление: «...не было еще примера, чтобы у нас в России человек... был оставлен без призрения *в некотором роде*». Это то же самое, что «в некотором роде высшая комиссия». Правда, данная поправка не была включена Гоголем в окончательный текст «повести», — может быть, потому, что первое уточнение делало излишним второе. Ведь оказывающий отечеству сомнительные («относительно так сказать») услуги пользуется настоящим призрением, но не «призрением *в некотором роде*».

Наконец, «Повесть о капитане Копейкине» созвучна с историей продажи-купли «мертвых душ» еще и тем, что она... не имеет к ней никакого отношения. Как же это может быть? — вы спросите. А вот как.

Вы помните, что почтмейстер рассказал «повесть» для подтверждения своей мысли, что капитан Копейкин — это и есть Чичиков. Все чиновники с полным вниманием слушают рассказ, и лишь к концу его полицеймейстера осенило: «Только позволь, Иван Андреевич... ведь капитан Копейкин без руки и ноги, а у Чичикова...» Тут впал в изумление и сам почтмейстер, у которого, оказывается, не было и тени сомнения насчет того, что человек в полном здравии мало походит на изуродованного и искалеченного капитана Копейкина: «...он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа...»

Но и сообразив свою ошибку, почтмейстер еще пытается упорствовать, «говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги...» и т. д. Однако почтмейстеру уже больше не верили.

Получается, что история капитана Копейкина рассказывается для того, чтобы стать тотчас отвергнутой. Показать, что ее герой не имеет к Чичикову никакого отношения.

Но разве это единственный подобный случай в поэме? А предположение, что Чичиков — это переодетый Наполеон? А версия дамы приятной во всех отношениях, что Чичиков хочет увести губернаторскую дочку? Алогизм — это характерная черта «мышления» гоголевских героев, «мертвых душ».

И не о таких ли странных фактах сказано в «Мертвых душах»:

«Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело!» Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях... Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки... И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные... Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносащие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины...»

Мы говорили, что у гоголевского образа «мертвых душ» есть и такая грань: владычество путаницы, пустой формы, пустоты. Значит, и по этой грани «Повесть о капитане Копейкине» крепко соединена с остальным текстом поэмы.

4

Возможно, что мысль написать «Повесть о капитане Копейкине» Гоголю подсказали народные песни о разбойнике Копейкине, погибающем в чужой стороне.

Вот одна из песен, записанных в г. Сызрани бывшей Симбирской губернии:

Собирается вор Копейкин
На славном на устье Карастане.
Он со вечера вор Копейкин спать ложился,
Ко полуночи вор Копейкин подымался,
Он утренней росой умывался,
Тафтяным платком утирался,
На восточну сторонушку богу молился:
«Вставайте-ка, братцы полубовны!
Не хорош-то мне, братцы, сон приснился:
Будто я, добрый молодец, хожу по край морю,
Я правую ногою оступись,
За кропкое деревцо ухватился,
За кропкое дерево — за крушину.
Не ты ли меня, крушинушка, сокрушила:
Сушит да крушит добра молодца печаль-горе!
Вы кидайтесь-бросайтесь, братцы, в легки лодки,
Гребите, ребятишки, не робейте,
Под те ли же под горы под Змеины!»
Не лютая тут змеюшка прошипела,
Свинцовая тут пулюшка пролетела.

Этот текст в числе других песен о Копейкиные опубликовал уже после смерти Гоголя фольклорист П. Безсонов.

В кратком предисловии к циклу издатель писал: «...Предлежащие образцы чрезвычайно любопытны еще в том отношении, что, вместе с преданиями, их окружающими, породили под пером Гоголя знаменитый рассказ о проделках необыкновенного Копейкина, в «Мертвых душах»: герой является там без ноги именно оттого, что по песням оступись ногою (то левою, то правую) и повредил ее; после неудач в Петербурге появился он атаманом в Рязанских лесах...»

Безсонов ссылается далее на свидетельство самого Гоголя: «...Мы помним лично слышанные живые рассказы Гоголя на вечере у Дм. Н. С-ва». Речь идет о Дмитрие Николаевиче Свербееве, на московской квартире которого бывал Гоголь.

Возможно, народными песнями подсказаны Гоголю и имя персонажа и сам факт его «разбойничества». Поэтому-то Гоголь и опасался, что цензура придерется к имени «Копейкин»: видимо, этот фольклорный образ был довольно известен.

Имя героя важно Гоголю еще потому, что в соответствии с своим скрытым значением, с этимологией, подсказывало ассоциации бесшабашной удали и дерзости: вспомним хотя бы выражение: жизнь — копейка. В черновой редакции «повести», кстати, это выражение обыгрывалось: «...Все это привыкло, знаете, к распусковой жизни, всякому *жизнь* — *копейка*, забубённая везде жизнь, хоть трава не расти...»

Но совершил бы большую ошибку тот, кто на этом основании преувеличил бы сходство «Повести о капитане Копейкине» с циклом народных песен. Издатель этого цикла выразился очень неудачно, говоря, что гоголевский Копейкин «является... без ноги именно оттого, что по песням оступись ногою (то левою, то правую)...» Если имеется в виду, что фольклорный образ подсказал Гоголю такую подробность, это возможно. Если же говорится о причине, о художественной мотивировке события, то между народной песней и гоголевской «повестью» ничего нет общего. Капитан Копейкин ведь не «оступался». У его хромоты есть вполне реальная, не носящая никакого символического оттенка мотивировка: «под Красным ли или под Лейпцигом... ему оторвало руку и ногу».

Я уже не говорю о других особенностях «Повести о капитане Копейкине», которых нет в народной песне: о жестокости и черствости власть имущих, о теме омертвевшей души, о тоне простодушной похвалы-издевки, о мотивах путаницы — словом, обо всем, что не только делает гоголевскую «повесть» оригинальным произведением, но и органично, нерасторжимо скрепляет ее с остальным текстом «Мертвых душ».